

Дмитрий ЛАГУТИН

Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель конкурса «Всемирный Пушкин» (2017 и 2018, номинация «проза»), лауреат премии «Русские рифмы» «Русское слово» (2018, номинация «Лучший сборник рассказов»), один из победителей конкурса «Мост дружбы» (2018). Победитель конкурса-фестиваля «Хрустальный родник» в номинации «проза» (2019 год). Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Нижний Новгород», «Дальний Восток» и др. Предыдущая публикация в «Волге» – повесть «Степная, 1» (2019, № 5-6).

РАССКАЗЫ

Радио

Кажется, левый наушник слышит лучше правого. Я поменял их местами – и впрямь.

– У меня от этой песни, – сказал диктор, – мурашки по спине бегут.

Заиграло фортепиано, женский голос запел по-английски. Я потрогал лоб – не спадает? Ноги и спину ломило, голова казалась тяжелой и пустой. Я подтянул одеяло до самого подбородка и стал смотреть в потолок.

От окна – сквозь синие шторы – лился в комнату бледно-голубой свет, ложился на письменный стол, заваленный тетрадями, на стул у кровати – термос, пузатая чашка, таблетки, – на люстру, свисающую с потолка. В изгибах люстры свет делался гуще, собирался бликами, и казалось, что сейчас посыплются на ковер мерцающие капли.

Женщина грустно пела, ей вторило фортепиано. Я натянул одеяло на лицо – пришлось поджать ноги, чтобы они не остались раскрытыми – и лежал так, чувствуя, как впитывается в одеяло горячее сухое дыхание, пока песня не закончилась.

– Вот! – воскликнул диктор. – Вот! У меня вся спина в мурашках! Поверьте мне на слово, вся спина, целиком. Ну а сейчас...

«Сейчас» у него разъехалось – получилось что-то вроде «сиз-э-э-час».

– Простите, простите, дорогие слушатели, – и диктор рассмеялся. – Ночь, все-таки, берет свое, берет, что уж тут. А значит, пока будет играть следующая композиция, – он с трудом выговорил название, – я, с вашего позволения, заварю себе чашечку крепкого кофе. Какая это чашка по счету? Кто мне скажет?

Он снова рассмеялся, застучали барабаны, и тонкий мужской голосок принялся что-то бормотать.

Я привстал – в голове зашумело – дотянулся до термоса, с хлопком выдернул влажную деревянную пробку и доверху наполнил чашку. Из термоса с плеском выпал шмат лимона.

Издалека – сквозь бормотанье радио – донеслось глухо:

– Бо-ом!

Это старые часы в гостиной – проббили час ночи.

Я сделал большой глоток, сморщился – дерет горло, – поймал двумя пальцами лимон, сунул в рот и стал жевать. Лимон был почти безвкусным, только корка, если ее раздавить зубами, горчила. Я подоткнул подушку к стене, сел, оперся на нее, выудил из-под одеяла приемник и положил палец на ребристое колесико. В наушниках зашипело.

Мимо окна промелькнула черная тень, за ней еще одна – летучие мыши носятся по двору.

Я повозил колесиком туда-сюда, шипение сменилось звуками оркестра. Я какое-то время пытался следить за мелодией, но голова гудела, и внимание вязло, спотыкалось, путалось в чаще звуков.

На следующей станции несколько человек ведущих оглушительно хохотали.

– Как? – кричал один из них. – Как можно было вообще такое выпустить?

И они продолжали хохотать.

Мне стало интересно – что это их так развеселило? – я убрал палец с колесика, выплюнул на блюдце то, что осталось от лимона, и стал пить чай, обжигая губы, но ведущие только хохотали, иногда выкрикивая что-то непонятное, а потом вдруг заиграла музыка.

Из-под двери вытянулась широкая полоса света, спустя несколько секунд дверь приоткрылась, в комнату заглянул отец и что-то спросил.

Я вынул наушники.

– Что?

– Ты как?

– Плохо.

– Не пропотел?

– Нет.

– Ничего, сейчас подействует.

Я кивнул.

– Чай есть?

– Да.

– Еще сделать?

– Нет.

– Тебе к какому уроку?

Я закатил глаза, отец рассмеялся.

– Старосте позвонил?

– Да.

– Врача утром вызовем.

– Хорошо.

– Если что – буди.

– Хорошо.

Он исчез, прикрыв дверь, полоса света еще немного полежала на полу, как коврик, а потом погасла.

Сквозь шторы был виден белый полукруг луны, снова промелькнула тень, за ней вторая.

В прошлом году летучая мышь влетела в открытую форточку на кухне, спихнула с плиты кастрюльку, перебудила весь дом. Отец распахнул окно настежь, и мышь – маленькая, трясущаяся – вынырнула во двор.

Я почувствовал, как потеет прижатая к подушке спина, и положил ладонь на лоб – по-прежнему горячий. Поставил чашку на стул, откинул одеяло, нагнулся, нашарил валяющийся на полу у кровати свитер и влез в него. Свитер был колючий и щекотал шею.

Я надел наушники. Скрипучий голос читал какую-то книгу.

– У Сони задрожал подбородок, – читал голос. – Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок.

Я чувствовал, как отступает под натиском таблеток и колючего свитера жар, но голова оставалась пустой и тяжелой, и следить за тем, что происходит с Соней, было сложно.

– А то вы скажите! – продолжал голос. – Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов.

«Какой еще Николай? – подумал я, возвращая на стул пустую чашку. – Откуда он взялся?»

Я положил палец на колесико и стал смотреть, как бредет от циферки к циферке заусенец ползунка. С одной стороны экранчик пересекала трещина, и по этой трещине очень удобно было водить ногтем.

Снова заиграл оркестр – тот же самый? Я вытянул из пакета кругляш печенья, сжевал его всухомятку, вытер со лба пот и улегся.

Оркестр сперва играл весело, потом стал замедляться, вздыхать, инструменты по очереди замолкали, и вскоре осталась одна скрипка – и она затянула такую пронзительную тоску, что мне стало не по себе.

Тень от люстры вытягивалась через весь потолок, извиваясь и путаясь.

Скрипка плакала, плакала и все никак не могла остановиться. Я стал крутить колесико и крутил его, перескакивая со станции на станцию, с АМ на FM, до тех пор, пока не подобрался к самой таинственной частоте – на которой можно было слушать телефонный разговор соседей снизу.

Под нами жила самая красивая девушка на свете – Аня Степанова. Все мальчишки в округе страдали от неразделенной любви к ней, писали стихи, бросали в почтовый ящик открытки, оставляли у двери бережно собранные букетики, звонили и убегали, топоча по подъезду. Регулярно на асфальте под окнами появлялись написанные мелом признания. Аня училась на третьем курсе факультета иностранных языков, серьезно занималась легкой атлетикой, и, когда она возвращалась вечером из манежа – краснощекая, легкая, тоненькая, с прямой спиной и высоко поднятой головой, с золотыми волнами волос, отброшенными назад и вздрагивающими при ходьбе, с рюкзаком через одно плечо, – ее провожали десятки восхищенных взглядов, а старик Трофимов, приросший к скамейке под старой липой, качал головой и бормотал, затягиваясь вонючей папиросой:

– Ишь какая.

Когда мы с Аней сталкивались в подъезде, я терялся, смущенно здоровался, краснел, а она только улыбалась своей восхитительной улыбкой и говорила:

– Привет.

Она так легко, так просто это говорила, что у меня сердце из груди выпрыгивало. И голос у нее – мягкий, спокойный, как ветерок.

Как я был изумлен, впервые услышав этот дивный голос в наушниках моего приемника! Приемнику было не более месяца – я слушал его днями напролет, таскал с собой повсюду, разорялся на батарейки и объездил ползунком весь земной шар. Ляжешь в кровать, найдешь французское радио, и слушаешь, как они там балакают, букву «р» жуют. Или занесет в Азию, а там... «Ла-ла-ла-ла-ла», – поют. Лежишь и слушаешь – и как будто ты не тут уже, а... где-то. Наверное, нет в мире станции, которую я бы обошел вниманием. А однажды попадаю на разговор. «Ну, – думаю, – передача какая-нибудь». Два женских голоса – и один как будто знаком. И разговор... Обычный разговор, как по телефону. «Чей же это голос, – думаю, – так на Анин похож». И тут голос говорит:

– В манеж? Нет, завтра не пойду.

У меня глаза на лоб вылезли, чуть с кровати не упал. Сел, слушаю – точно Аня! С подругой говорит. Про манеж, про атлетику, про учебу. «Ну, – думаю, – чудеса». То есть не то чтобы прямо чудеса – я знал, что с радиотелефонами такая штука бывает, но чтоб вот так, прямо здесь, да еще Аня!

В общем, я самым бессовестным образом прослушал долгий разговор Ани Степановой с подругой – и, конечно, мне стыдно. На следующий день я встретил ее на площадке у почтовых ящиков и даже не посмел поднять глаза, а уши у меня так горели, что, наверное, светиться могли. Она сказала – мягко и радостно, как обычно:

– Привет.

А я что-то крикнул и побежал вниз.

И, конечно, я запретил себе повторять такую подлость. И, конечно, не сдержался – еще несколько раз я как бы невзначай забредал в Анин телефон и слушал, как она говорит с подругой. Но слушал недолго – почти сразу я начинал морщиться, кривиться, щипал себя за руку, пыхтел и спустя минуту или две выдергивал наушники и отбрасывал приемник – во второй раз он ударился о стену и заработал трещину на экране. Аня была единственным человеком, чей разговор я не мог слушать без того, чтобы чувствовать себя последним мерзавцем, – я даже сам от себя не ожидал.

И вот теперь каким-то неведомым образом коварный ползунок оказался у той самой частоты. Ему оставалось преодолеть каких-нибудь два-три деления, и...

Началась борьба. Я откатил ползунок назад, он вернулся на прежнее место. Я закусил губу и закашлялся – в горле першило. Нашел ближайшую станцию, послушал визгливую нестройную песню. Побежал к зевающему диктору, его уже отпустили – сухой голос зачитывал сводку новостей. Бросился к плачущей Соне и неизвестно откуда взявшемуся Николаю – и не смог их найти. Сел, налил чаю, вытряс из пустого термоса еще один шмат лимона, сунул в рот.

«В конце концов, – думал я, глядя на белый силуэт луны, – с чего я решил, что она не спит? Второй час ночи».

Эта мысль меня успокоила. Я подумал, что не будет ничего постыдного в том, чтобы просто шагнуть на определенную частоту – подумаешь! Я ее даже не замечу, частоту, – пройду мимо из шума в шум, а потом буду искать Соню с Николаем.

И я скомандовал ползунку идти вперед.

Но Аня Степанова не спала. Она говорила по телефону, и голос у нее был странный, без обычной легкости.

– Не знаю, – говорила она. – Не знаю. Странно это.

– Что тут странного? – возражала подруга. – Ничего странного тут нет.

– Не знаю...

У меня кровь отхлынула от щек.

«Сейчас выключу, сейчас выключу», – забормотал я себе под нос.

И я уже прижал палец к колесу, как подруга сказала:

– Ну, влюбилась и влюбилась!

Кровь вернулась в мои щеки, и теперь о них можно было обжечься. Я убрал палец с колесика.

Аня молчала.

– Не знаю, – наконец сказала она. – Как-то это...

Подруга щелкнула языком.

– Ну что ты как маленькая?

– Да мы же знакомы с самого детства – разве бывает вот так?

О ком она говорит? С кем она знакома?

Часы в зале пробили два.

– Все бывает, – уверенно сказала подруга. – Подожди секунду, я сейчас вернусь. Окно только открою, духота.

Наступила тишина. Тишина накрыла мир непроницаемым куполом, все замерло. И вдруг я услышал, как Аня Степанова горестно вздохнула. Тишина распахнулась, Анин вздох пролетел сквозь нее, словно птица.

Узнаю, о ком она говорит, и выключу.

– Я тут.

Аня молчала.

– Ань.

– Да?

– Я думала, ты уснула.

– Что-то не хочется.

– Мне тоже.

Я отвернулся к стене и ткнулся носом в шероховатые обои.

– Ань.

– Да?

– Мне иногда кажется, что за нами следят.

Пауза.

– В каком смысле?

– Не знаю. Кажется.

– Не говори глупостей.

Они помолчали.

Было очень жарко, волосы липли ко лбу, я вжимался лицом в обои и старался не думать о том, что я – мерзавец.

– Как море? – спросила Аня.

– Парное молоко.

– Ты хоть загорела?

– Спрашиваешь!

Они снова замолчали.

– Он очень изменился, – сказала, наконец, Аня. – Очень.

– В лучшую сторону?

– Не знаю. Наверное. Как будто совсем другой человек.

– Так и бывает, я думаю.

– Да.

Замолчали.

– Ты бы его видела сегодня, – я по голосу понял, что Аня улыбается. – В парке. Надулся, басит, грудь выпятил! Герой!

Они тихо засмеялись.

– А как наедине оказались – краснеет, молчит.

– Это хороший знак, – уверенно сказала подруга.

– Погоди-ка...

– Что?

Тишина.

– Ань?

Тишина.

– Аня.

– Тут я, тут. Вот он, легок на помине.

– Кто?

– Ну кто-кто! Игорь!

Я ахнул. Игорь!

– Где? – не поняла подруга.

– На балконе – курит опять, дымом в окна тянет.

Я отбросил одеяло и вскочил, едва не опрокинув стул с термосом. Прыгнул к окну, отдернул шторы, влез прямо на стол, на тетради – химия, восьмой класс! алгебра, восьмой класс! английский, представьте себе, язык, восьмой класс! – и прижался щекой к стеклу.

Стекло было ледяное.

Двор тонул в темноте, кроны лип толпились черными валунами, в доме напротив моргали несколько окон, было видно арку, сквозь нее – огни проспекта. Над двором выгибалось иссиня-черное небо, точно булавкой истыканное – белели точки звезд – над крышами качалась луна. Горел всего один фонарь, и казалось, что никакого фонаря нет, а посреди двора, у баскетбольной площадки, стоит сама по себе пирамида оранжевого света. Стоит и очерчивает оранжевыми бликами долговязую фигуру Игоря, прислонившегося к перильцу подъездного балкона, между третьим и четвертым этажами,

в нескольких метрах от меня, по диагонали. Игорь курил и смотрел в темноту. Огонек у его лица то вспыхивал красным, то бледнел.

Игорь жил на одной площадке с Аней – в квартире напротив. Он был старше ее на несколько лет, и только недавно – месяц или полтора назад – вернулся из армии, в которой провел два года после окончания того же факультета иностранных языков. С ним мы тоже здоровались – как и с Аней – но я даже не был уверен, знает ли он, как меня зовут. Он производил впечатление замкнутого, угрюмого человека, и не верилось, что Аня может в него влюбиться.

За время службы он несколько раз приезжал домой – и я дважды видел его в военной форме, коротко стриженного, с вытянутым худым лицом над широкими плечами.

– Пойдешь? – спросила подруга.

Я закашлялся и тут же прижал ладонь ко рту – испугался, что меня услышат.

– Куда?

– К нему.

Аня рассмеялась.

– Ты что? Нет, конечно!

– Почему? У вас там холодно?

– Нет, тепло...

– Ну так что же?

Игорь докурил, щелкнул пальцами, и красная точка полетела вниз.

– Да что ты! – возмутилась Аня.

– А-не-чка, – протянула подруга, – это же так романтично.

– Не знаю...

Какой я мерзавец.

Игорь не уходил. Скрестил руки на груди, смотрел перед собой.

– Хозяин – барин, – сказала подруга. – Не хочешь, не иди.

Аня молчала.

– Докурил уже... – неуверенно сказала она.

Подруга зевнула.

– Слышишь? – воскликнула она.

– Что?

– Чайки кричат! Слышишь?

Чаяк слышно не было.

– Нет.

– Подожди, я телефон к окну поднесу, если провода хватит.

Раздался шум, что-то стукнуло.

– Сейчас всех перебуду, – засмеялась подруга. – Вот, слушай.

И я, как сквозь вату, услышал резкие протяжные крики.

– Вот это да, – выдохнула Аня.

– Это тебе моря не слышно еще. Не слышно ведь? А до меня долетает.

– Он не уходит.

– Игорь?

– Да.

Игорь стоял, точно статуя – не шевелясь.

– Так может, все-таки...

Аня молчала.

– Это подло, – сказал я себе и выдернул наушники.

Я обернулся, кинул приемник на кровать – он приземлился ровнехонько по центру – и шумно выдохнул. На стекле появился кружок испарины.

Но со стола я не слез. В том, чтобы просто смотреть в окно, никакой подлости нет. Выйдет Аня к нему? Если выйдет – я тут же исчезаю; мне бы только знать – выйдет ли?

Промелькнула перед самым моим носом летучая мышь – я даже не испугался. Проползла через двор, выставив перед собой две сияющие полосы, старенькая девятка, из пятого подъезда. Я нашел взглядом Орион, Большую Медведицу. Налетел ветер, и черные кроны задрожали, разбуженные. В доме напротив загорелось голубым окно, тут же погасло.

Игорь стоял не шевелясь. Потом он встряхнул головой, развернулся, дернул балконную дверь – ему в лицо хлынул свет – и ушел.

Я еще немного посмотрел на опустевший балкон, медленно слез со стола – на пол со стуком упал пенал, – поправил шторы и влез под одеяло, ощупывая лоб.

Не надевая наушники, я выкрутил колесико до упора – ползунок испуганно прижался к краю белой полосы.

В дверь постучали, ручка вздрогнула. Я закрыл глаза и замер.

– Спишь? – негромко позвал отец.

Я не ответил.

Когда дверь щелкнула, закрывшись, я надел наушники, доплыл до ближайшей станции и стал слушать, как двое с одинаковыми голосами обсуждают итальянские мотивы в творчестве Пушкина.

– Можно с полным правом говорить о таком явлении как пушкинская Италия, – говорил один, – и, разумеется, мы не сможем провести между этой Италией и, так скажем, реальной Италией знак равенства.

– Вы совершенно правы, – соглашался второй. – Но с тем же правом можно говорить и о Петербурге Пушкина, и о...

– Конечно-конечно, – перебивал его первый. – С тем же самым правом.

Я подтянул одеяло к подбородку, отвернулся к стене, прижался к ней лбом и очень скоро уснул.

Когда передача о Пушкине сменилась музыкой, я сквозь сон нащупал наушники, вытащил их и опустил приемник на ковер у кровати.

Кораблики

Утро было пасмурное. По небу тянулись серые лохмотья облаков.

– Такой нож и не купишь нигде, – говорил Лёха. – У нас таких не продают.

Мы сидели на моем крыльце и скребли ножами куски сосновой коры – делали кораблики. Лёха орудовал швейцарским перочинным красавцем, я – тупым кухонным коротышкой.

Швейцарский нож Лёхе привез отец-подполковник.

– Как бы дождя не было, – сказал я.

С моей стороны крыльцо было обвито плющом – широкие бордовые листья висели гирляндами, щекотали шею.

– Смотри, как кромсает!

Из-под серебряного лезвия выныривали полупрозрачные деревянные чешуйки, сыпались на крыльцо.

– Дай попробовать.

Лёха запрокинул голову и расхохотался.

Какое-то время скребли молча. Кухонный нож отказывался работать тонко и выгрызал из коры толстые бесформенные щепки.

Подул ветер – и бордовые листья зашуршали у самого уха.

– Я раз порезался, – сказал Лёха, – кровищи натекло. До кости.

Я посмотрел недоверчиво. Он вытянул руку, сунул мне под нос большой палец. Через подушечку тянулся по диагонали тонкий белый шрам.

– Если бы до кости, – сказал я, – зашивали бы.

– Так я не сказал никому! Еще отберут! Пластырем стянул – ничего, заросло.

Я покачал головой.

Лёха положил нож на лавку и принялся чесать ухо. Была у него такая жуткая привычка – уши чесать. Лицо при этом скривит, глаза прищурит – смотреть страшно. И звук – как трещотка какая.

Уши у него огромные, как блины, красные, и торчат в стороны.

– Смотри! – Лёха оставил в покое ухо и ткнул пальцем вверх.

Под крышей, в углу, сидел, распластав крылья, здоровенный серый мотылек.

Я пожал плечами.

– Прилетит ночью и сядет тебе на лицо, – сказал Лёха.

Я поморщился.

– Что ты несешь?

Лёха выпучил глаза.

– Я про такое читал.

Я вздохнул и повертел в руках кораблик – он получался вполне себе сносным. Неуклюжим, но сносным. Кора казалась теплой.

– Бревно, – сказал Лёха. – Не поплывет.

Я промолчал.

– Вот у меня – другое дело.

Его кораблик по сравнению с моим казался произведением искусства. Глубокий, с тонкими стенками и дерзким задраным вверх носом.

– Вот это я понимаю, – сказал Лёха.

Он ловко щелкнул ножом – лезвие моргнуло и спряталось – отогнул блестящий штопор и принялся что-то царапать на коричневом боку.

Кора слушалась так, словно была в сговоре со штопором.

– Во!

Он вытянул руку, и я увидел ровные квадратные буквы:

«ЛЁХА».

– Отлично.

В просветах между бордовыми листьями замелькало что-то пестрое, а в следующее мгновение у калитки показалась цыганка.

Это была самая старая и самая злющая цыганка из всех, что я видел. Она жила в бараке за вокзалом, и от нее даже свои цыгане шарахались. Она целыми днями слонялась по округе и приставала ко всем, кого видела, – ругалась. У нее было сморщенное желтое лицо, черные глаза-бусины и широкий рот, похожий на щель. Вся она была замотана в давно выцветшие тряпки. Вдобавок ко всему она страшно горбилась и оттого смотрела исподлобья.

Она положила желтую ладонь на калитку и уставилась на нас.

Повисла тишина, даже листья перестали шуршать.

Лёха щелкнул штопором, откинулся на лавке и задрал подбородок.

– Чего надо?

Цыганка зачавкала губами, черная щель задвигалась, в ее глубине заехали туда-сюда несколько золотых зубов.

– Погыдать? – проскрипела она, наконец, и положила вторую ладонь на калитку.

Лёха подбоченился и фыркнул.

– Все зынять будешь. Все зынять.

Каждое слово окутывалось целым облаком чавканья и шлепков губы о губу. Лёха снова фыркнул.

Желтая ладонь потянулась к ручке.

– Заходить нельзя, – тихо сказал я.

Ладонь остановилась на полпути. Цыганка посмотрела на меня, на Лёху, щель растянулась в ухмылке.

– Ушастый, – проскрипела она, – погыдать?
Лёха прыснул, и я краем глаза увидел, как у него щеки стали пунцовыми.
– Ишь ты, – протянул он. – Чеши отсюда.
Цыганка завозила губами, пробормотала что-то неразборчиво.
– Э! – окликнул ее Лёха, привставая. – Ты что там бормочешь? Вали давай!
Цыганка выпучила черные глаза и скривилась.
А Лёха разошелся.
– Вали, вали! – он вскочил с лавки. – Катись!
Цыганка скорчилась, как будто ей было больно.
– Щенки пыршивые, – процедила она.
Лёха ахнул.
– Это кто щенки? Кто щенки?
Он схватил кораблик и замахнулся им.
– Вали давай, пока по башке не дал!
Цыганка отшатнулась от калитки, пряча в платки желтые ладони, вытянула шею и плюнула:
– Сыдохнете!
Лёха рассвирепел, он спрыгнул с крыльца, ухватился за калитку и закричал:
– Я сейчас батю позову, он тебе руки-ноги переломает!
И он завертел головой, делая вид, что ищет отца. Цыганка тоже завертела головой и втянула шею в плечи.
– Бать! – крикнул Лёха. – Бать!
Цыганка отступила. Лёха приставил ладони ко рту и заорал на всю улицу:
– Ба-ать!
Цыганка дернулась, засеменила вбок, запнулась, чуть не упала, дернулась, удерживая равновесие – при этом из тряпок вынырнули ее тощие локти. Она снова вытянула шею – и скрипнула, на этот раз как-то неуверенно:
– Умырете!
Лёха разразился громогласным хохотом.
– Ба-ать!
Цыганка развернулась и уковыляла за угол. Воцарилась тишина.
Я посмотрел на Лёху, он потряс кулаком и вернулся на крыльцо.
– Дура, – сказал он и сел. – Давай гвоздь.
Я протянул ему гвоздь, и он стал вкручивать его в кораблик – отверстие для мачты.
Мачтами служили ровные белые – без коры – веточки сирени.
Я посмотрел на перекресток.
Над головой послышался шелест – мотылек сновал из угла в угол, мельтеша крыльями. Наконец, он выбрал себе место и притих. Я встряхнул головой, взял в руки кораблик.
– Будет дождь, – сказал Лёха. – Вон как нависло.
По небу, кувыкаясь, неслись лохмотья.
– Есть!
Лёха поставил мачту и кинул мне гвоздь. Я проковырял в коре неровную дырку, дунул в нее, втиснул белую холодную мачту.
– С такой штукой не пропадешь, – снова завел свою песню Лёха. – Тут и большой нож, и маленький, и отвертка с открывашкой, и штопор. И вон чего.
Он вытянул пластиковую зубочистку и тонкий металлический пинцет.
Но я его не слушал. Я вынул мачту, углубил дырку, взял свой нож и снова стал скрести кораблику бока.
Засвистел ветер – и плющ заметался, забился. Мотылек вострепнулся и стал нарезать круги по крыльцу.
– Фу! Фу! – замахал руками Лёха. – Кыш!

Мотылек юркнул в дергающийся плющ, выпорхнул из него, пронесся мимо меня и взмыл на прежнее место. Там он потоптался беспокойно, устраиваясь поудобнее, и затих.

В следующее мгновение на улицу обрушились золотые лучи – облака в одном месте разошлись, выпуская на свободу солнце.

С крыльца солнца видно не было, и казалось, что улица светится просто так, сама по себе, а небо остается серым. Светилось все – дорога, усыпанная камнями, жидкая осенняя трава, палисадники, шифер на крышах, клен, гараж, фонарный столб. Запылала бордовая листва, превратилась в рубиновые.

Лёха свесился с крыльца, и его огромные уши тоже запылали.

Только мотылек никак не отреагировал – спал.

По дороге протарахтел, подпрыгивая на кочках, соседский запорожец, свернул за угол, оставив за собой сизую дымку.

Я вернул мачту на место, потянулся за парусом. В роли паруса выступал белый бумажный прямоугольник. Его надо было аккуратно проткнуть гвоздем – внизу и вверх – и нанизать на мачту.

Улица закачалась, золотой свет куда-то поплыл, стал бледнеть.

Я раздвинул бордовую листву и высунул голову наружу. Солнце то ныряло в серую пучину, то выныривало из нее, раскидывая сияющие крылья. Ветер подгонял обрывки облаков, они натывались на лучи и расплывались. Такая чехарда продолжалась минуту, а потом хмурый свод сомкнулся, и солнце осталось где-то там, в глубине, и уже нельзя было сказать наверняка, что оно только что было здесь и даже светило.

Лёха дернул меня за ногу.

– Чего завис? Я все, пошли.

По лицу прошуршали темные листья, и я оказался внутри.

Лёхин кораблик важно стоял на лавке, вскинув острый нос. Над ним выгибался широкий парус с какими-то каракулями.

– Это что? – спросил я.

– Иероглифы!

Мой кораблик жался в углу, отвернувшись ото всех и уткнувшись тупым носом в стенку.

На улицу упало и тут же исчезло золотое пятно.

– Пошли!

Я смотрел на кораблик.

– Пошли, чего завис?

Лёха дотянулся и ткнул меня кулаком в плечо. Я встряхнул головой.

– Смотри, – сказал Лёха, протягивая мне свой фрегат.

В самом низу, у основания, мачта была обернута чем-то разноцветным, и это что-то почти полностью скрывалось в отверстии, только краешек выглядывал наружу.

– Что это?

Лёха ухмыльнулся и вернул кораблик на лавку.

– Вот взял и сказал.

– Вкладыш какой-нибудь?

Лёха отвернулся, не переставая ухмыляться.

– Тайна! – сказал он значительно.

Я посмотрел на свой кораблик. Он был начисто лишен какой бы то ни было тайны. Он был прост и неуклюж, и стыдился этого, забившись в свой угол. Я положил его на ладонь и встал.

– Подожди, – сказал я.

Я повернулся к двери, ведущей в дом, и открыл ее. Подскочивший было Лёха плюхнулся на лавку.

– Ты совсем, что ли? – протянул он. – Весь день тут просидим!

Я не ответил и вошел, закрыл за собой. Не разуваясь, прошагал через коридор – на кухню. Тут было тепло, пахло едой, с холодильника бормотало радио.

Кот, свернувшийся на табурете, поднял голову и посмотрел на меня сонными глазами.

Я поставил кораблик на стол, полез в ящик и сразу же обнаружил то, что требовалось – стопку белых квадратных листочков, аккуратно нарезанных бабушкой и предназначенных для банок с вареньем. Взял верхний, повертел в руках – сгодится.

Во всей кухне не было ни одного карандаша – и ни одной ручки. Точнее, была одна – но без стержня.

Пришлось разуваться и идти в комнаты.

В доме было тихо, цокали настенные часы, сквозь тюль лился с улицы тусклый серебряный свет, все казалось погруженным в дремоту.

Бабушка спала в кресле, опустив голову на грудь. На коленях лежала раскрытая книга. Я на цыпочках прокрался в свою комнату – дальнюю – и выудил из пенала ручку.

Каждый шаг отдавался пронзительным скрипом – старые доски возмущались нарушению их покоя.

Из окна столовой было видно угол крыльца и Лёхину голову с огромными ушами. Голова покачивалась из стороны в сторону – Лёха, должно быть, что-то напевал, но казалось, что голова качается от ветра.

Ветер яростно трепал сирень, плющ и все, до чего мог дотянуться, и странно было наблюдать это буйство сквозь застывший, недвижимый тюль.

Когда я открыл дверь в кухню, меня окликнула бабушка.

– Все хорошо, – ответил я.

– Родители не звонили?

– Не знаю, я только пришел.

– Есть будешь?

– Попозже.

Бабушка пригладила ладонью волосы и закрыла глаза. Я вышел, сунул ноги в ботинки и осторожно прикрыл дверь.

На кухне я согнал кота с табурета и сел за стол, у окна. Оторвал от листка тонкую полоску, положил перед собой, занес ручку.

Что написать?

Бубнело радио, урчал холодильник, было тепло, и не хотелось никуда уходить.

За окном – двор. Грядки, клумбы, сарай, теплица, яблоня. Среди раскачивающихся ветвей белеет новенький скворечник. А за забором – крыши, крыши, крыши, и из-за них выглядывают удивленно кроны деревьев.

Небо волновалось, точно море, перекашивалось свинцовыми волнами.

По старой березе, через улицу от нас, карабкался кто-то из мальчишек. Самое высокое дерево в округе. Маленькая темная фигурка лезла все выше и выше, а береза не заканчивалась. Наконец смельчак остановился и сел на ветку, обхватив ствол обеими руками.

Высоко как! У меня ладони вспотели.

Я вспомнил цыганку.

Коснулся ручкой листка и вывел:

«Не умру».

Подождал немного – как слезать будет? – но смельчак сидел, как прирос. Проспорил? Кот ткнулся лбом в ногу, запросился на табурет, радио перестало бубнеть и тихо запело женским голосом.

Я зажал бумажку в кулаке и встал – кот тут же запрыгнул на мое место – дотянулся, не отводя взгляда от окна, до хлебницы, нащупал баранку, сунул в рот.

Смельчак все сидел.

Я услышал, как топает по крыльцу Лёха, взял со стола кораблик и вышел в коридор. Зачем-то включил и выключил свет, поправил выглядывающие из-за шкафа удочки, натянул кепку, посмотрелся в зеркало, снял.

У самой двери я остановился, вынул из кораблика мачту, обернул бумажкой поплотнее – и вставил обратно. Бумажка спряталась только наполовину, мачта стояла как влитая.

Лёха негодовал.

– С тобой связываться – себе дороже.

– Не связывайся, – ответил я.

Плющ затрепетал приветственно, на крыльцо упало несколько капель.

– Вот как ливанет! – сокрушался Лёха.

Мы спустились с крыльца, вышли за калитку. На улице было пустынно, свистел ветер, гнал по дороге пыль.

Я обернулся, березы из-за дома не было видно.

– Что ты делал-то?

Я махнул рукой.

– Жрал, небось, – обиженно сказал Лёха. – Мог бы и мне вынести.

– Не жрал я.

Я проглотил недожеванную баранку, и она проскрежетала по горлу. С перекрестка береза открывалась как на ладони, на ней никого не было.

– Что там? – спросил Лёха.

– Ничего.

Мы свернули на Базарную. Лёха снова заладил про свой нож.

– Его и точить не надо, – говорил он. – Он самозатачивающийся.

– Это как?

Лёха задумался.

– А шут его знает! Батя сказал. С таким ножом не пропадешь!

И он опять пустился его расхваливать – и расхваливал до самой канавы.

Из-под перекрестка выныривал обрубок широкой бетонной трубы, здесь начиналась канава – и бежала вдоль дороги до самого поля – четыре переулка. Канава была узкая, глубокая, поросшая с обеих сторон высокой травой. На каждом перекрестке она снова пряталась в арку трубы – такая же ждала ее и перед полем, у деревьев, – серая, неаккуратная, с щербатыми потрескавшимися краями. Труба тянулась через поле, то выпячивая из травы свой щербатый хребет, то прячась под землю и прерываясь лишь раз, под крошечным мостиком, – с тем чтобы потом выглянуть из высокого берега и уткнуться в реку. Со стороны могло показаться, что труба хочет пить.

Накрапывал дождь.

– Давай я оба, – предложил Лёха.

– Я сам.

Мы опустились на четвереньки.

– Я в прошлый раз чуть не нырнул, – сказал Лёха.

Я вытянул руку, свесился вниз, к самой воде. Вода была темная, по ней плыли щепки, листья, я видел свое отражение на фоне свинцового неба.

– Ты к этому краю, я – к тому, – скомандовал Лёха. – На счет три.

Дождь застучал звонче, в канаву льдинками падали капли, из черного бетонного нутра летел гул. У кораблика были теплые шершавые бока, всем своим видом он протестовал против расставания.

– Три!

Я осторожно поставил кораблик на воду, кончики пальцев лизнуло холодом. Кораблик дернулся, повел носом в сторону, наклонился вбок, выпрямился и растерянно двинулся по течению.

Лёхин заскользил ловко, со знанием дела, высоко поднимая нос.

Лёха отпрыгнул куда-то, вернулся с суковатой палкой – расчищать путь. И мы зашагали вдоль канавы. Лёха тараторил:

– Мне батя в другой раз кортик привезет. Обещал.

– Зачем тебе кортик?

Кораблики шли вровень, только мой то и дело косился на берег.

– Слышь, ты чего? Зачем? Это ж кортик!

Я споткнулся о кирпич, зачем-то лежащий на проходе, пнул его ногой. Лёха прыснул.

– У бати есть кортик – свой, в ящике лежит. И у меня будет теперь.

Небо потемнело, ветер усилился, дождь сыпал наискосок – набирал силу.

– Только его на улицу выносить нельзя! – продолжал Лёха.

– Зачем он тогда нужен?

Лёха фыркнул. И бросился вперед – выталкивать из канавы кусок пенопласта, зацепившийся за траву.

Кораблики притерлись друг к другу и нырнули в первую арку. Мы перебежали дорогу и свесились вниз.

Кораблики вышли из тоннеля ошаренные, испуганные, завертели носами.

– Ты бы видел его кортик, – продолжал Лёха. – С гравировкой, весь в вензелях. Бате какой-то адмирал дарил.

– Здорово.

У меня намокли плечи, дождь колот шею. Сзади раздался скрежет, поднялось облако пыли.

– Молодежь! Дайте проехать!

Мы отпрыгнули на траву. Грузный краснощекий мужик в клетчатой рубаше проплыл мимо, наваливаясь на педали высокого велосипеда.

Лёхин кораблик ускорился и юркнул во вторую арку. Мой замешкался, подгрел под себя широкий кленовый лист, да так и пошел – волоча его за собой.

– А у бати и пистолет есть! – воскликнул Лёха, встречая кораблик с той стороны. – Тяжеленный!

– У моего тоже есть, – соврал я.

Лёха обернулся, прищурился.

– Какой?

– Тяжеленный.

Мой кораблик зацепился мачтой за пук травы, я плюхнулся на живот, освободил, подтолкнул легонько. Кораблик был холодный и мокрый.

– Эй, не толкай! – крикнул Лёха. – Нечестно!

Дождь усилился, волосы прилипли к вискам, за шиворот бежали ручьи. За высоким забором залаяла собака, и лай неся вровень с нами, пока забор не закончился.

Лёхин кораблик притормозил, точно устал, и в третьей арке исчезли одновременно.

За этим перекрестком дома стояли свободнее. Дорога топорщилась колдобинами, сужалась. Это был последний переулочек, дальше – за деревьями – поле.

Но из тоннеля показался только один кораблик – мой.

Лёха грянулся на землю, ухватился рукой за край трубы, сунул голову внутрь. Я испугался: сейчас свалится, бросился к нему.

Из трубы раздались ругательства. Кораблик зацепился за проволоку, выглядывавшую из воды, и застрял. Лёха ворошил в трубе палкой – но дотянуться не мог.

Наконец он высунул голову, продолжая ругаться. Рука у него была расцарапана до крови. Он с хрустом сломал палку и сплюнул себе под ноги. Потом обернулся.

Мой кораблик, вздрагивая, уплывал все дальше.

– Вот ты как?! – заорал Лёха и ринулся к нему, замахиваясь тем, что осталось от палки.

У меня кровь отхлынула от лица. Записка!

– Не трожь!

Я дернул Лёху за плечо и навалился на него.

Тут же Лёха заехал мне в лоб локтем, в глазах потемнело. Лёха швырнул обрубок палки, он ударилаь о воду в метре от кораблика.

– Не трожь! – крикнул я и снова навалился на него.

Лёха извернулся, обхватил меня, повалил, бухнулся сверху, я зажмурился, стал брыкаться, Лёха замахал кулаками во все стороны, мне опять прилетело в лоб, потом в щеку. Я открыл глаза, ухватился за огромное красное ухо, мелькавшее надо мной, и что есть силы дернул.

– Оторвал! – взвизгнул Лёха и повалился на бок.

Я извернулся и увидел, как белый парус исчезает в темном полукруге трубы.

– Посмотри, оторвал? Оторвал?! – кричал Лёха.

Я подскочил, охнул – щека отекала – шагнул к Лёхе. Он сидел бледный, прижав обе руки к уху.

– У-убери руки, – сказал я, заикаясь.

Мне стало страшно – вдруг я правда оторвал ему ухо?

Но ухо было на месте, целое и невредимое, – только багровое и распухшее.

– На месте, – сказал я и сел рядом.

Мы были грязные, мокрые, дождь барабанил по дороге, между колдобинами вытягивались мутные лужи.

– Молодежь!

По дороге ехал в обратную сторону мужик на велосипеде. Он поравнялся с нами и остановился.

– Молодежь! Вы чего в грязи сидите?

Лёха отвернулся, я открыл рот, но не знал, что ответить.

– А я поехал было к реке, да вот дождь.

И, точно услышав его слова, дождь обрушился на нас с такой силой, словно хотел придавить. Мужик втянул голову в плечи, со второго раза поставил ногу – она соскальзывала – на педаль.

– Бегите к деревьям, чего сидите!

Он лег на руль, пихнул педаль и медленно покатился в сторону.

Мутные лужи пенились и топили колдобины. Траву прибило к самой земле. У меня одна половина лица горела, а второй было холодно.

Лёха поднялся и медленно, вразвалку пошел к деревьям. Он вытянул шею, задрал подбородок и расправил плечи как только мог – и так и шествовал, не обращая внимания на ливень. Только багровое ухо торчало как-то некстати.

Я встал, хотел окликнуть его, но промолчал. Пощупал щеку и двинулся следом. У самых деревьев Лёха обернулся, и я выпрямился, замедлил шаг.

Деревья оказались прекрасным укрытием. Это были коряжистые, старые деревья с переплетенными кронами и толстыми гнутыми стволами. Листва смыкалась над нашими головами темным сводом, по ней стучала вода.

Лёха стоял на самом краю поля, скрестив руки на груди, широко расставив ноги. Справа от него из земли показывалась труба, подернутая мхом, уходила вперед, исчезала в траве.

Я подошел, стал рядом.

Поле таяло в пелене дождя, стоял грохот. Небо клубилось тучами. Впереди сквозь пелену темнела полоска леса, к ней убегала, извиваясь, серая дорога.

Лёха молчал, смотрел перед собой, задрал подбородок.

Там, над лесом, небо светлело. Может, там и дождя уже не было. Мы смотрели, как расползаются в стороны тучи, как бледнеет серое сукно, наливается сиянием, прогибается. Я почти слышал треск, с которым оно лопнуло – и в прореху хлынули потоки золотого света.

Деда

– Что тебе нарисовать?

– Котя.

– Котика?

– Да!

Девочка захлопала в ладоши.

Защебетал дверной звонок.

– Птичка!

– Деда пришел.

Девушка положила мелки на ковер и встала. Девочка заплясала:

– Деда! Деда!

– Стой ровненько!

Девушка вынырнула в коридор, повернула ключ и вернулась в комнату.

– Деда, привет! – крикнула она. – Мы тут!

Девочка, смеясь, отбежала в угол и спряталась за кресло.

В коридоре зашуршали пакеты.

– Оля, снова тапки не могу найти.

– Под обувницей.

Зашаркали шаги, дверь приоткрылась, и в комнату заглянул, расплываясь в улыбке, старик.

– Здравствуйте! – сказал он и вошел.

За собой он тащил огромный разноцветный сверток.

– Деда! – всплеснула руками девушка.

Она обняла старика и поцеловала в щеку – в редкую белую бороду.

Старик посмотрел по сторонам и ахнул.

– А где же Ирушка?

Девочка, выглядывающая из-за кресла, сделала хитрое лицо и сказала:

– Ку-ку!

Старик отпустил сверток, раскинул руки в стороны и принялся шагать туда-сюда, держась подальше от кресла.

– Где же Ирушка? Кто-то прокукукал, а кто – неясно!

Девочке надоело прятаться, и она с писком выбежала на середину комнаты.

– Вот же она!

Старик, крихтя, подхватил девочку на руки и принялся целовать. Девочка засмеялась, стала отпихиваться, прятаться от бороды.

– Бада! Бада!

– Бада! – подтвердил старик. – Не ахти какая, но бада! По возрасту положено, каждому прадеду по бороде!

– Как твой кашель?

Старик опустил девочку на ковер, она тут же побежала к свертку, засемила вокруг него.

– Ничего.

Девушка покачала головой.

Девочка ощупывала сверток, охала, удивляясь.

– Кысива! Кысива!

– А уж что внутри-то! – торжественно произнес старик. – Распаковывайте!

Девушка рассмеялась.

– Деда, ну что ты, в самом деле!

Старик сделал строгое лицо.

– День рождения! Положено!
– Каждый месяц только до года празднуют!
Старик замотал головой.
– И знать ничего не хочу!
Девушка опустила на колени и принялась разворачивать сверток. Старик загибал пальцы.
– Это сколько же получается... Двадцать два... Двадцать два месяца! Шутка ли!
Из свертка появилась вышитая розами лошадь-качалка. Она стояла на сверкающих деревянных полозьях и кивала головой.
Девочка захлопала.
– А это не опасно?
Старик посмотрел с укором.
Он подошел к девочке, наклонился и поцеловал кудрявую макушку.
– Поздравляю с днем рождения.
Он погладил лошадь по тряпичному боку.
– Назовем ее розочкой, видишь, какая красавица!
Девочка задумалась и протянула:
– Озочка.
Старик положил ладонь на поясницу, выпрямился.
– Спина болит? Посиди.
– Пустяки! – старик махнул рукой и прошел через комнату к окну, девочка засеменила следом. – Погода-то какая! Нужны вам эти шторы!
Он отдернул занавеску, и комнату расчертили золотые лучи.
– Бабье лето! – вздохнул старик. – А где дедово?
Он повернулся к девочке и сделал удивленное лицо:
– Где? Где дедово лето?
А потом подхватил ее на руки.
– Вот оно! Вот оно, дедово лето! Вот оно самое!
– Бада! Деда, бада!
Старик опустил девочку, она побежала к лошади, полезла на нее, соскользнула и плюхнулась на ковер. Губы тут же задрожали.
– Ничего, ничего! Оля, помоги дитяте.
Девушка недоверчиво качнула лошадь туда-сюда, отодвинула от дивана, посадила девочку верхом и выставила руки с обеих сторон – ловить.
Девочка схватила лошадь за гриву и зацокала языком.
– Вот! Просто замечательно! – старик приставил к губам пальцы и изобразил свист.
– Как я в детстве о такой мечтал!
Он опустился на диван, пригладил белые волосы.
Девочка качалась вперед-назад, взвизгивала. Вскоре ей надоело, и она запросилась вниз. Оказавшись на ковре, она схватила мелки и стала выводить в альбоме загогулины.
Девушка посмотрела на часы.
– Деда. Я пойду. Готовить надо, а то до сна не успею.
Старик замахал руками.
– Конечно-конечно!
– Спасибо за подарок.
Она поцеловала девочку и вышла.
Старик закашлялся, постучал ладонью по груди, а когда кашель прошел – улыбнулся, покачал головой.
Какое-то время сидели молча. Девочка выводила загогулины, старик внимательно следил. Потом не выдержал и позвал:
– Ирушка!
Девочка встрепенулась.

– Что ты там рисуешь?

– Котя!

Девочка схватила альбом и положила старику на колени.

– Котя... – пробормотал старик задумчиво.

Потом потряхнул головой.

– Ирушка, какая красота!

Девочка затанцевала.

– Деда! Деда! – запищала она и высыпала на альбом мелки.

– Рисовать?

– Да!

– Что же тебе нарисовать?

– Котя!

Старик выбрал один мелок, остальные аккуратно сложил на диване, достал из нагрудного кармана очки, надел. Прищурился и стал рисовать.

– Это я тебе не просто какого-то котю рисую, – говорил он вполголоса. – Это мой добрый друг Чернослив. Я с ним в детстве в обнимку спал.

Девочка смотрела, не отрываясь.

Наконец старик снял очки, отложил мелок и воскликнул:

– Вуаля!

Девочка взяла альбом двумя ручками, положила на ковер, села рядом, долго смотрела на рисунок, а потом сказала:

– Котя!

Старик рассмеялся.

– И какой котя! Настоящий боевой товарищ! Я его сам домой принес, с улицы. Спас, почитай.

Старик посмотрел в окно.

– Ирушка! А погода-то какая!

Девочка обернулась.

В окно было видно светлое голубое небо, застеленное прозрачным кружевом облаков, и огненную верхушку клена.

Старик охнул, полез в карман.

– Ирушка! Ведь я тебе каштанчиков принес!

И он протянул девочке три крупных блестящих каштана.

Девочка распахнула глаза, взяла каштаны – один выронила – и стала рассматривать.

Широкий золотой луч падал из окна на ладошки, и каштаны сияли. По их коричневой коже бежал узор – овалы, точно круги на воде.

– Подрастешь – будешь их метать, – сказал старик. – Прекрасное занятие. Скачут как резиновые.

Он поднял упавший каштан и поднес к самым глазам.

– Вот ведь природа!

Из кухни донесся шум воды.

– Я сейчас уже, конечно, не вижу, – сказал старик, – но на каштанах, вот прямо на них самих, кружки нарисованы.

Девочка посмотрела озадаченно.

– Помню, как я удивился, когда разглядел их когда-то.

Он покатал каштан по ладони.

– Это природа рисует.

На кухне заголосил чайник, тут же затих.

Девочка положила каштаны на ковер, потопталась на месте и снова юркнула за кресло.

Старик завертел головой.

– Где же Ирушка?

Девочка выглянула и пискнула:

– Ку-ку.

Старик оперся о диван, встал, прошелся из угла в угол.

– Только что здесь была – и вдруг исчезла!

Девочка, смеясь, выбежала из-за кресла и полезла на диван.

– Смотри, Ирушка, театр.

Старик протянул руки – и их окутали лучи. Он сложил ладони вместе, сжал одной другую и оттопырил два пальца вверх.

На стене, у самого пола, вырос заячий силуэт.

– Ирушка, зайчик!

Девочка повертела головой, потом увидела тень, брови ее поползли вверх, она соскользнула с дивана и подбежала к стене.

Заяц сидел смирно, шевелил ушами и протягивал девочке маленькую круглую лапку.

– Он здоровается, Ирушка! Здоровается с тобой!

Девочка улыбнулась, закачалась, стесняясь, но потом потянулась и погладила тень.

Старик рассмеялся, вскинул руки, и заяц исчез. Старик склонился к девочке и взял ее за плечи.

– Ирушка, ну что ты за золотой ребенок! Ведь ты – мой лучший друг!

И он снова поцеловал кудрявую макушку.

– Вот чувствую – лучший друг!

Девочка привстала на цыпочки.

– Что такое? Целовать? – Голос старика дрогнул. – Милая ты моя!

Он склонился ниже, и девочка звонко поцеловала его в щеку.

– Бада!

Старик выпрямился, провел по лицу рукой, вздохнул. Приложил ладонь к груди, закашлялся.

Девочка сидела и катала по ковру каштаны.

В коридоре раздались шаги, дверь открылась. Старик отдернул руку.

– Деда, я чай сделала.

Старик кивнул.

Девушка посмотрела на каштаны.

– Ирочка, что это у тебя? Это тебе тоже дедушка принес? Ну, задарил!

Старик подошел к окну.

– Какая погода!

– Да, замечательная.

Девочка оставила каштаны и спряталась за кресло.

– Оля.

– Да?

– А ты своего прадеда помнишь?

Девушка собрала каштаны, положила их на диван.

– Деда, ну что ты?

Девочка выглянула из-за кресла.

– Ку-ку!

– Помнишь?

– Кажется, да.

Старик повернулся.

– Оля, – улыбнулся он. – Ведь не помнишь.

Девушка скрестила руки на груди.

– Помню!

Он снова улыбнулся.

– Не помнишь. А он ведь с тобой возился – не отходил.
Девушка промолчала.
– Ку-ку!
– И я своего не помню, – сказал старик.
Девочка выглянула, позвала обиженно:
– Деда!
Старик вздрогнул, встряхнул головой.
– Ой! – воскликнул он. – А где же Ирушка?
Девочка выпрыгнула из-за кресла, побежала к нему, но на полпути свернула к дивану и сгребла в охапку каштаны – все три.
Девушка подошла к старику, взяла его за руку.
– Деда. Ну перестань, пожалуйста. Ты вон какой богатырь.
Старик усмехнулся.
– Деда, – повторила девушка строго, – не хандри.
Она посмотрела ему за плечо.
– Ты глянь, какая красота. Клен наш прямо огнем горит.
Старик обернулся.
– Бабье лето.
– Доченька, – позвала девушка, – пойдем сегодня в парк? Листики собирать?
Девочка затанцевала:
– Пак! Пак!
– Кого мы в парке видели вчера?
Девочка задумалась.
– Красивый такой, пушистый, вот с таким хвостом.
Девочка просияла.
– Котя! Котя!
Она кинулась к альбому, принялась тыкать пальцем.
– Что там у тебя? – девушка присмотрелась. – Ой, какой котя! Замечательный котя!
Это дедушка нарисовал?
– Дя!
– Замечательный котя! Дедушка у нас – на все руки мастер.
Она повернулась к старику.
– Художник. Не хандри. Пойдем чай пить.
Старик засуетился, захлопал неловко по карманам.
– Вовсе я и не хандрю. Вот еще выдумала – хандрить.
Он подставил руки под золотые лучи.
– Я еще волка умею показывать, и орла, и улитку, и... и... кого только не умею!
На стене расправил крылья орел.
Девочка застыла.
– Деда, попроси, пожалуйста, орла проследовать на кухню. У нас там кашка остывает. А чай уже остыл.
Старик топнул ногой.
– Орел! – воскликнул он. – Лети на кухню! Там Ирушкина кашка остывает! А чай мой остыл уже!
Орел взмахнул крыльями и исчез.
– Ирочка! Орел в кухню полетел!
Девочка засмеялась и побежала к двери.